

«Записки о войне» Бориса Слуцкого как исторический источник

Борис Абрамович Слуцкий (7 мая 1919 — 22 февраля 1986) известен как выдающийся русский советский поэт. Писал он, по словам Даниила Гранина, «поражающе много»: «поэзия переполняла его, он торопился записывать, словно бы стенографировал чьи-то голоса, диктующие ему» [Гранин 2000: 18]. Творческая судьба, однако, сложилась так, что подборки его исчислявшихся сотнями стихов увидели свет в основном только после смерти поэта. А Слуцкого-прозаика вообще не знали вплоть до начала 1990-х гг., когда в библиотеке «Огонька» появилась его небольшая автобиографическая книжка «О других и о себе» (1991). «Записки о войне», о которых пойдет речь, были опубликованы только в 1995 г., в канун 50-летия Победы, написаны же они были в 1945 г., в течение нескольких послевоенных месяцев. В 2000 г., в год 55-летия окончания Великой Отечественной войны, в петербургском издательстве «Logos» вышел комбинированный сборник, включающий «Записки» и наиболее известные стихотворения поэта о войне из сборников разных лет. Еще через пять лет, в 2005 г., книга «О других и о себе» была переиздана в серии «Мой XX век». В нее вошли и «Записки о войне» — не только своего рода хроника жизни советского человека в военные годы, но и многоцветная палитра настроений, чувствований, восприятий, из

которых складывается история того времени. Ясно ощущаемое дыхание эпохи отмечали те близкие и друзья поэта, которым посчастливилось познакомиться с книгой еще до ее выхода в свет. Но особенно важны свидетельства «людей войны», фронтовиков, которые, как никто другой, могли оценить «уровень правды» и искренность «Записок». «Все, чем жил этот человек в военные и послевоенные годы, все, что отстоялось в его душе и памяти твердыми взглядами, убеждениями, нравственными оценками, все это было изложено читателю с достойной сдержанностью и прямоотой, с нехвастливой, но непоколебимой гордостью за свою страну и свой народ», — эти слова Константина Симонова могут стать эпитетом ко всему творчеству Слуцкого-прозаика и, в первую очередь, к его «Запискам о войне».

Начало войны застало Слуцкого в Москве студентом-выпускником двух институтов — Московского юридического и Литературного. Он ушел на фронт добровольцем, не завершив сдачи выпускных экзаменов. Военно-учетная специальность юриста привела его в дивизионную прокуратуру, но задержался он там недолго. Еще в сентябре 1941 г., находясь после ранения в свердловском госпитале, он писал другу Петру Горелику: «Дослужусь до армвоенюриста, буду судить Гитлера и подам голос за смерть», а годом позже, в октябре 1942 г., «начал, — по его словам, — службу сначала. Получил гвардии лейтенанта (не юридической службы) и ушел на политработу. Замкомбатствовал...» В апреле 1943 г. Слуцкий — старший инструктор политотдела 57-й армии. Но желание служить в тех частях, где, как он писал близким, «пехотнее» (этот термин для Слуцкого — мерило военных тягот и опасностей), побуждало его заниматься не своим прямым делом — ходить в разведпоиски. В конце 1943 г. Слуцкий переведен на другой участок политработы, о котором сообщал близким так: «Сейчас на руководящей работе в одной экзотической, романтической, казавшейся мне инте-

ресной должности», «на политработе на одной из самых острых интересных должностей. <...> Гвардии капитан (пехоты, а не юстиции)» (цит. по [Горелик 2000: 313–314]). Новым местом службы стало 7-ое отделение политотдела армии по работе среди населения и войск противника. Под началом Слуцкого находилась радиовещательная громкоговорящая установка (МГУ), смонтированная в автофургоне. Действовать приходилось исключительно на переднем крае, и на МГУ противник обрушивал обычно такой шквал огня, что командиры стрелковых взводов, пишет Слуцкий, «боялись моей работы», «молили перевести машину в другое место... Задолго до выезда по всем штабам проносилась молва о „Черном вороне“», — машине, вызывавшей на себя огонь [Слуцкий 2000: 204–205]. Но, несмотря на это, Слуцкий неоднократно, впрочем тщетно, ходатайствовал о переводе в строевые части в надежде «занять более пехотное положение».

Пройдя войну «от звонка до звонка», начав ее под Москвой, а закончив в Австрии и Югославии, Слуцкий отмечал в «Автобиографии», сохраняющейся в его писательском личном деле:

Был во многих сражениях и во многих странах. Писал листовки для войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Венгрии, Австрии, Югославии, Румынии для командования. Написал даже две книги для служебного пользования о Югославии и о юго-западной Венгрии... Писал текст первой шифровки «Политическое положение в Белграде» (20 октября 1944 г.). Многократно переходил линию фронта и переводил через нее немцев-антифашистов, предъявлял ультиматумы (в том числе в Белграде и в районе Граца)... В конце войны участвовал в формировании властей и демократических партий в Венгрии и Австрии. Формировал первое демократическое правительство в Штирии (Югославская Австрия) <...> Вел обычную жизнь политработника (цит. по [Горелик 2000: 318]).

Этот емкий, но неполный обзор в самом общем виде очерчивает тот круг вопросов, которые представляют интерес при обращении к «Запискам» как к историческому источнику.

«Записки о войне» по своему жанру — произведение из разряда «обобщенной мемуаристики»: это свидетельство не только офицера-фронтовика, но и литератора, который через художественное переосмысление личного жизненного опыта передает настроения своего окружения и фронтового поколения в целом. «Более всего, — напишет позднее Гранин, — я завидовал всеохватной его памяти, его дальнозоркому глазу, тому, как добросовестно он запомнил, сохранил, записал *свою* войну (здесь и далее курсив мой. — Т. В.). Завидовал, потому что четыре года моей войны и я тоже мог бы по-своему изложить, записать, ведь было пережито многое, а вот не сумел, не сделал, понадеялся на память, а она слишком быстро заросла» [Гранин 2000: 18].

Действительно, завидовать «всеохватной памяти» Слуцкого были все основания. Структурно «Записки» состоят из нескольких глав — «Основы», «Румыния», «Болгария», «Югославия», «Венгрия», «Австрия», «Евреи», «Белогвардейцы», «Девушки Европы», «Русский язык», «Попы», «Разложение войск противника». Большинство глав, в свою очередь, включает отдельные, вполне самостоятельные разделы. Так, например, в «Основы» вошли разделы-размышления «Накануне Европы», «Эренбург», «Гнев», «Героизм», «Как брали рошу „Ягодицы“», «Быт»; в главу «Болгария» — разделы «Русофильство», «Коммунизм», «Карательная политика», «Армия», «Царенок», «Женщины», «Как мне болгарский орден выдавали», «Большая политика», «Меньшевик Петко»; в главу «Югославия» — разделы «Диалектика», «Четники», «Армия», «Лагерь в Гакове», «Бригада Месича», «Самостоятельность» и пр. Некоторые главы, напротив, композиционно выглядят монолитно. Например, глава «Евреи» включает лишь «Рассказ еврея Гершельмана». Герой

повествования — до войны заведующий типографией в Харькове, доброволец-ополченец с июля 1941 г., политрук попавшей в окружение роты, сумевший выжить и встретить наступавшие части Красной Армии. Но в эпопею Гершельмана органично вплетены не менее важные «анонимные» (без отдельного названия) части главы, в которых Слуцкий приводит свои свидетельства и наблюдения об отношении русского человека к «еврейскому вопросу», к многочисленным представителям национальностей в действующей армии, о распространении во фронтовой среде национализма «в сквернейшем, наступательном, шовинистском варианте», об «объективном и субъективном разматывании [его] клубочка» и о постепенном изживании националистических настроений («Заработали извечные качества русского человека — его антишовинизм» [Слуцкий 2000: 149, 152]). Убедительно и точно, если принять во внимание временную дистанцию и современные научные исследования (сошлюсь на работы авторитетного российского исследователя Г. В. Костырченко, посвященные государственной политике в отношении еврейского населения и интеллигенции), Слуцкий препарирует такие явления, как «пассивный антисемитизм» передовой или его постепенное схождение на нет в офицерском корпусе и т. д. «Неудобная» еврейская тема подается как внешне спокойный, если не бесстрастный рассказ, лишенный категоричных авторских выводов и оценок. Однако он подводит к пониманию, что стояло за разговорами о «ташкентском фронте», а ясно ощутимый в своей лаконичности «нерв» повествования, на мой взгляд, лишает автора статуса нейтрального наблюдателя, держит в напряжении читателя.

Важное значение при анализе «Записок» имеет вопрос об их основе, в частности о дневниковых или иных материалах автора, использованных в работе. Если стихов, по признанию поэта, он не писал «по военно-уважительной причине» (исключением стало относящееся к

началу 1944 г. стихотворение «Кельнская яма» о судьбе русских военнопленных в фашистских концлагерях), то достоверной информации о наличии у Слуцкого рабочих записей и/или черновых вариантов «деловой прозы» (так он называл «Записки о войне») нет. П. Горелик отмечает, что во время пребывания Красной Армии на Балканах Слуцкий, благодаря служебному положению, имел возможность ознакомиться с мемуарами белогвардейских генералов и российских политиков-либералов, пролистать подшивки эмигрантских журналов [Горелик 2000: 319]. Несомненно, что полученная информация способствовала накоплению эмпирического знания, расширению культурно-исторического кругозора, а, может быть, и заставляла скорректировать прежние оценки. Однако рассматривать ее как один из главных источников при создании «Записок», на мой взгляд, было бы преувеличением. Основным накопителем информации все же были личные наблюдения и переживания поэта, его собственная память. При этом личность Слуцкого, ее масштаб, положение в описываемых событиях, их время и значение позволяют констатировать высокую степень осведомленности автора.

Вместе с тем следует учитывать избирательность человеческой памяти, ее относительную надежность. Не случайно мемуары и воспоминания считаются жанром, «страдающим склерозом». Кроме того, память подвержена модернизации, как, впрочем, и личность мемуариста, причем процесс этот может протекать незаметно для него самого.

Представляется, что с точки зрения *модернизации памяти* «Записки» наименее уязвимы. Мало того, что писались они «по горячим следам» событий, и временной дистанции между событием и рассказом о нем у Слуцкого фактически не было. Автор никогда не предпринимал никаких попыток к изданию «Записок» и, как вспоминали друзья, «как бы забыл о них». Более того, осознавая,

что время для рассказа о войне без прикрас и конъюнктурной лакировки еще не пришло, упорно отклонял советы друзей продолжить удавшийся опыт [Горелик 2000: 321]. Поэтому, думается, вполне определенно можно исключить сознательные «натяжки» по цензурным соображениям при написании текста. Действовала ли и в каких масштабах самоцензура, сказать сложнее. Тот факт, что, приехав в краткосрочный отпуск из Граца осенью 1945 г. и познакомив с рукописью самых близких своих друзей, Слуцкий попросил их изъять из всякого обращения экземпляры глав «Основы», «Девушки», «Попы» и некоторых других, я склонна увязать с пониманием Слуцким, что «Записки» во многом и для многих придутся «не ко двору», поскольку противоречат каноническим изображениям войны и официальным ее трактовкам, в частности, освободительной миссии Красной Армии. Подчеркну, однако: просил изъять, но не стал переделывать! С моей точки зрения, это свидетельствует, помимо прочего, и о понимании автором изначальной назидательной цели мемуаристики, желании говорить с будущим читателем предельно честно и откровенно.

Задаваясь вопросом о *модернизации личности* автора, следует учитывать, что «Записки» суть выражение герменевтического авторского взгляда «на прошлое из прошлого». Слуцкий попросту не мог, точнее, не успел испытать корректирующего (читай: конъюнктурного) воздействия на себя будущих трактовок событий и их оценок (без ответа остается вопрос, было ли вообще подобное возможно для него?). Но война сама по себе влияла на человеческую личность. «Конечно, мы все тогда были охвачены жаждой мести за бесчинства немецких оккупантов, — вспоминал позднее Д. Гранин. — Мечь грубая, бесчеловечная, переходила в чувство возмездия, а затем и в милосердие победителей» [Гранин 2000: 17]. А вот свидетельство автора «Записок»: «...Наш древний интернационализм был обломлен свежей ненавистью к немцам <...>

самосохранение жестоко „состукивалось” с долгом <...> страх перед смертью — со страхом перед дисциплиной <...> честолюбие — с партийным презрением к побрякушкам всякого рода» [Слуцкий 2000: 25]. И взгляд на войну политработника Слуцкого «подправлялся» взглядом гуманиста-демократа [Горелик 2000: 321–322].

Создавая «Записки» уже на исходе войны, «накануне Европъ», Слуцкий четко сформулировал свою главную задачу. В одном из первых разделов «Гнев» он написал: «Не время говорить о праве и правде. Немцы первые ушли по ту сторону добра и зла. Да воздастся им за это сторицей! <...> *Жестокость наша была слишком велика, чтобы ее можно было оправдать. Объяснить ее можно и должно*» [Слуцкий 2000: 28, 30]. И сегодня, спустя 70 с лишним лет после окончания войны, когда во многих работах прева-лирует обвинительный уклон, а Красная Армия рисуется как ворвавшееся в Европу полчище мародеров и насильников, актуальность задачи «понять и объяснить» не просто сохраняется, но и многократно возрастает.

Тем важнее сопоставление «Записок» с другими источниками, позволяющее верифицировать приведенные автором факты и констатации. В качестве примера подобной верификации приведу некоторые материалы.

В числе одной из главных Слуцкий поднял в «Записках» проблему «обратного влияния Европы на русского солдата». «Очень важно знать, — писал он, — с чем вернуться на родину „наши“ — с афинской гордостью за свою землю или же с декабризмом навыворот, с эмпирическим, а то и политическим западничеством?» [Слуцкий 2000: 45]. Контакты красноармейцев с местным населением выявили весьма важные стороны взаимовосприятия. В Румынии, например, тягостное впечатление производил низкий уровень жизни. Бросавшуюся в глаза «страшную бедность, забитость населения, боязнь воспользоваться собственностью помещиков» вспоминали позднее многие фронтовики [Уткин 2005: 78]. Остро воспринимались сол-

датами проявления социальной несправедливости, изумление вызывало наличие крупной частной собственности («неужели этот завод частный?»). При этом «тысячи и тысячи солдат преувеличивали положительные стороны нашей жизни перед иностранцами», убежденность в справедливости жизненного уклада оправдывала их ложь в собственных глазах. Перед многими сторонами быта солдат испытывал отвращение: антисанитария парикмахерских («мылят пальцами и не моют кисточки»), отсутствие бани, умывание из таза, «где сначала грязь с рук остается, а потом лицо моют», и пр. Производила впечатление, особенно поначалу, и относительная свобода нравов, прежде всего в городах. Однако первые восторги по части свободной любви прошли сравнительно быстро. Дело было не только в том, что за соблазн нередко приходилось расплачиваться здоровьем и длительным лечением [Советская пропаганда 2007: 712], но и в презрении к самой возможности «купить человека» [Слуцкий 2000: 46]. К негативному восприятию «заграницы» Слуцкий отнес и огромное количество эрзац-товаров (особенно в Румынии), подорвавших, по его словам, «традиционное почтение к „заграничной вещи“» — шелк, линявший и рвавшийся после первой стирки, сахарин в пирожных, даже практичная румынская деревянная обувь — все воспринималось как «подделка, фальшь, ложь» [Слуцкий 2000: 47]. Расчеты на «капитализацию идеологии красноармейца», вынашиваемая «идеологическим противником», не оправдались. Именно в Румынии, констатировал Слуцкий, наш солдат особенно отчетливо ощутил «свою возвышенность над Европой» [Слуцкий 2000: 45–46].

Красноармейцы болезненно реагировали и, по словам Слуцкого, «чутко учитывали» отношение местного населения к военной мощи советской страны и ее социальному строю. По части последнего у румын, например, отчетливо сквозило: «Хорошо, да не для нас, мы здесь как-нибудь сами, по-своему» [Слуцкий 2000: 51]. Проведенные ав-

тором «Записок» опросы в Румынии, Австрии и Венгрии свидетельствовали, что примерно 20 % населения предпочитали русскую оккупацию союзнической, а из западных союзников больше симпатизировали англичанам, нежели американцам [Слуцкий 2000: 50]. Население Югославии и Болгарии проявляло неподдельный интерес к жизни и быту советских людей. Это подтверждают донесения полторганов 3-го Украинского фронта. В сводках о настроениях болгарского населения отмечалось, что его волновало все: каковы цены на продовольственные и промышленные товары; одинаково ли материальное положение рабочих и служащих; отличается ли жизнь рабочего на периферии и в центральных городах; каковы наиболее востребованные профессии; что можно сказать о положении женщины, в том числе и работающей (кто в таком случае смотрит за детьми?); образование советского человека и возможности его получения; существует ли плата за учебу; обязательно ли начальное обучение; какие иностранные языки изучаются в СССР; действуют ли церкви и отправляют ли службу священники; какова численность населения в крупных городах — Москве, Ленинграде, Киеве; какие существуют ордена и за что даются? Всеобщее сильное удивление вызывали быстрое продвижение офицеров по службе и молодость офицерского состава Красной Армии (поражали 25–30-летние командиры полков!), но, что характерно, это никак не связывалось с масштабами безвозвратных потерь. В крестьянской среде отмечался сильный интерес к вопросам о частной собственности в СССР*.

Несмотря на «плюсовые факторы» такого интереса, выявившийся низкий в целом уровень знаний населения о жизни в СССР удивлял многих советских военнослужащих. Обобщая свои балканские впечатления, Слуцкий отметил:

* Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее — ЦАМО РФ). Ф. 243. Оп. 2914. Д. 61. Л. 234.

Степень неосведомленности Европы о России была обидно велика. Это оскорбляло и озлобляло. Удивлялись нашему знанию простейших вещей из местной жизни — это в то время, когда во всех красноармейских газетах печатались справки «Болгария», «Румыния», «Венгрия». В то же время охотно сообщали нам ворох всякой «клюквы» о России. Как ни мизерно было то, что мы знали о них, они знали о нас еще меньше и хуже [Слуцкий 2000: 47–48].

Правда, замечал в связи с этим Слуцкий, «нельзя забывать, что мы побывали в довольно паршивой Европе, ее Пошехонье, с румынским бессапожьем и венгерским безземельем» [Слуцкий 2000: 48].

Не менее важный вопрос, поднимаемый в «Записках», — а какой увидела Красную Армию «заграница»? Первое, что бросалось в глаза и даже подчас шокировало, — внешний вид красноармейцев. Вот первое описание, приведенное в «Записках»:

Мы идем по отличной румынской дороге, покрытой белой пылью, столь тонкой, что в десять шагов она смыла с сапог российскую грязь. Мимо медленно ползут стрелковые роты, досчитывающие трофеи кишиневского окружения. Костюмы бойцов варварски разнообразны — в полный набор оттенков желтого и зеленого цветов — положенных цветов нашей армии — обильно вкраплены немецкие и румынские мундиры. Основная кирза разбавлена блистательной легковесностью хромовых, стянутых с немецкого подполковника сапог. Идут волны, мобилизованные еще за Днестром [Слуцкий 2000: 56].

Когда осенью 1944 г. в Западной Румынии 75-й стрелковый корпус освободил огромные шеститысячные лагеря наших военнопленных, то их, учитывая, что корпус не пополнялся с августовских боев, сразу же распределили по полкам партиями по 600–800 человек. На марше они следовали в арьергарде. Слуцкий записал:

Так и шли они разноцветными ордами, замыкавшими тусклые полковые колонны, защитники Одессы и Севастополя, кадровые бойцы 1941 года, слишком выносливые, чтобы поддаться режиму румынских лагерей, слишком голодные, чтобы не ненавидеть этот режим всей обидой души. Шли тельняшки, слинявшие до полного слияния белых и синих полос, шли немецкие шинели, шли румынские мундиры, вымененные у охраны. Шли. И румынские деревни отшатывались перед их полком, разбегались в стороны от шоссе

А между тем это были

отличные солдаты, сберегшие довоенное отношение к сержантам и почтение к офицерам. Большинство из них крепко усвоило военное словечко «Мы себя оправдаем», — сопряженное с осознанием своей вины (или согласием: мой поступок (пребывание в плену. — *Т.В.*) можно рассматривать как вину) и неслезливым рассказом [Слущкий 2000: 55].

А вот что говорит архивный документ. В справке политуправления 2-го Украинского фронта за 12 июля 1944 г. об итогах проверки состояния партийно-политической работы в войсках внешний вид красноармейцев характеризовался как «очень неприглядный»: бойцы выглядели «оборванцами». До 80–90 % бойцов совершенно не обеспечены обмундированием и обувью. «По дорогам Молдавии и Румынии в таком виде, большими и малыми командами, пополнение следует в части, в том же виде оно обучается в запасных частях и следует в действующие войска, а нередко и участвует в боях босиком, в гражданском обмундировании, пришедшем в абсолютную негодность». Из 240 военнослужащих маршевой роты, следовавшей 31 мая 1944 г. на пополнение в 39-ю стрелковую дивизию, 15 человек шли «буквально в нижнем белье» [Советская пропаганда 2007: 713]. Добытые трофеи выручали лишь частично.

И еще одно свидетельство. Оно принадлежит сотруднику Управления стратегических служб США Д. Вудрофу, имевшему репутацию «аккуратного и надежного на-

блюдателя болгарской политической жизни». В докладе об обстановке в стране в сентябре–декабре 1944 г. он отметил не только «разочарование болгар внешним видом красноармейцев», но и, что важно, испытываемую бойцами неловкость за «относительную отсталость» России [Българо-съветски отношения 1999: 221].

Сказанное следует объяснить. Красная Армия была обеспечена необходимым обмундированием только к 1926 г. [Шалито 2001: 9]. Перебои в производстве гимнастерок, шинелей, сапог и пр. возникли уже в 1941 г. в силу объективных причин (потеря складов, сырьевой базы, производственных мощностей). В дальнейшем трудности в этом плане преодолеть полностью не удалось, с чем и связан описанный выше внешний вид красноармейцев, причем, не только рядовых, но и многих сержантов и офицеров.

Рисуя картину фронтового быта, Слуцкий подробно рассказывает о солдатской пище. Он скупо описывает голодную зиму–весну 1942 г.: постулавшие в госпитали «дистрофики с нулевым дыханием» — «старичье из дорожных батальонов», смерть солдат от истощения на маршах, разбавление каши в частях местной противоздушной обороны многими литрами воды («болталось бы хоть что-нибудь в брюхе»). «Первой военной весной, когда подвоз [продовольствия] стал маловероятным, стали есть конину, — говорится в „Записках“. — Убивали здоровых лошадей (нелегально); до сих пор помню сладкий потный запах супа с кониной. Офицеры резали конину на тонкие ломти, поджаривали на железных листах, до тех пор, пока она не становилась твердой, хрусткой, съедобной» [Слуцкий 2000: 37]. Констатировал Слуцкий и «реальную зависть» рядовых солдат к офицерам с их дополнительным пайком, к «начальству» в лице кладовщиков, поваров, старшин. Нелюбовь к однополчанам, оказавшимся «при кухне», объясняют сводки по запасным частям 2-го Украинского фронта, постулавшие в Совет воен-

но-политической пропаганды Главного политуправления Красной Армии в июле 1944 г. Приведенные в них факты подтверждают «разнузданное разворовывание красноармейского пайка»: выдачу военнослужащим половины нормы суточного пайка, регулярное приготовление пищи без соли. В 150-м запасном полку 53-й армии в ротной кладовой при проверке было обнаружено 600 кг продуктов, «наворованных из красноармейского пайка» (мука, крупа, сало, консервы, сахар, жиры и пр.); 160 кг припрятанных продуктов нашлось и в батальонной кладовой [Советская пропаганда 2007: 714–715]. «Почти всю войну кормежка была изрядно скудной», — пишет Слуцкий. Мир в глазах людей с «интеллигентским стажем» представлялся в огнях ресторанов «с пивом, с горячим мясным». И только с приходом армии «на сытую, лукавую, недограбленную немцами Украину» удалось серьезно улучшить питание. Летом 1943 г. армейские продотделы впервые прекратили сбор крапивы для солдатских борщей: впереди были бахчи и огороды Харьковщины и «фруктовое царство» Тираспольщины, позволившие решить проблему витаминов в солдатском рационе. А в 1945 г. в Венгрии и Австрии солдат и офицеров смогли подкормить, избавиться от дистрофиков и наесть «мяса», «основательно объев заграничное животноводство» [Слуцкий 2000: 41].

Даже сегодня, несмотря на массив новой информации, описания создавшегося вдруг интендантского продовольственного изобилия и проявлявшееся незнание, как грамотно распорядиться излишками, производят сильное впечатление. Неожиданно звучит и вывод о том, что «не только жалость к голодным враженятам, не только невозможность обжираться на глазах истощенных блокадой детей», но и это самое изобилие объясняло раздачу солдатскими кухнями пайковой пищи жителям Будапешта и Вены [Слуцкий 2000: 38–40].

Сказанное Слуцким подтверждает сербский историк А.А. Тимофеев, изучивший материалы российского воен-

ного архива: только в 1943–1944 гг., подчеркивает исследователь, советский солдат понемногу начал забывать слово «голод». Вместе с тем он констатирует, что положение в тыловых частях и действующей армии отличалось, дневной рацион на фронте оставался скудным. Так, танкисты 4-го гвардейского мехкорпуса генерал-лейтенанта В.И. Жданова, единственного танкового соединения, действовавшего на Балканах в составе 3-го Украинского фронта и находившегося на острие его удара, в сентябре 1944 г. в течение недели получали на завтрак кашу (манную, пшеничную или из пшеничного концентрата), на обед — борщ или фасолевый суп. Ужин был более чем скромным — чай и хлеб. Калорийность такого питания, пишет Тимофеев, не достигивала даже до норм, рекомендованных медиками для лиц, занятых *легким* физическим трудом [Тимофеев 2011: 281], а что говорить о труде ратном?

Еще одна важная проблема, поднятая автором «Записок», — масштабы таких негативных проявлений, как мародерство, воровство, «конфискации», насилие. Вывод однозначен: они практически повсеместно приобрели массовый характер. Вот лаконичное и четкое наблюдение, сделанное Слуцким в Румынии: «разведчики, которые носили по одиннадцать часов на левой руке — от плеча до запячья — и тикали ими на ходу на одиннадцать разных голосов» [Слуцкий 2000: 43]. Вот яркая венгерская зарисовка: графский замок Вексельхаймб, «в простенках между окнами стоят кресла <...> над каждым креслом — веер из слоновой кости и японского шелка <...> Веера повертели в руках и повесили — как не имеющие практического значения. Это направление мародерства очень типично» [Слуцкий 2000: 122]. А в Австрии, отмечает Слуцкий, «в армии уже выделилась группка профессиональных кадровых насильников и мародеров. Это были люди с относительной свободой передвижения: резервисты, старшины, тыловики. В Румынии они еще не успели развернуться как следует. В Болгарии их связы-

вала настороженность народа, болезненность, с которой заступались за женщин. В Югославии вся армия дружно осуждала насильников. В Венгрии дисциплина дрогнула, но только здесь, в 3-й империи, они по-настоящему дорвались...» [Слуцкий 2000: 127].

Документы Политуправления 2-го Украинского фронта указывают на «большое количество фактов недостойного поведения» солдат и офицеров в прифронтовой зоне. Только за 17–20 мая 1944 г. в румынской Ботошани комendantские патрули задержали за недостойное поведение около 500 военнослужащих, в Сучаве — 560 человек [Советская пропаганда 2007: 715]. Приводя конкретные многочисленные факты мародерства, грабежей, пьянства, насилия и пр., авторы заключали, что Военный совет и политорганы фронта «упустили время, когда надо было быстро и оперативно принимать конкретные меры по борьбе с этими позорными для Красной Армии явлениями» [Советская пропаганда 2007: 716].

Не лучше обстояло дело и на других фронтах, и 19 января 1945 г. Ставка Верховного Главнокомандования издала приказ о предании суду военного трибунала советских военнослужащих, предусматривавший высшую меру наказания. Известны «расстрельные» приказы К.К. Рокоссовского в Польше, как и извинения, которые принес в марте 1945 г. Сталин делегации Чехословакии за недостойное поведение красноармейцев в стране [Советский фактор 1999: 191–192]. Вместе с тем в беседе с главой делегации НКОЮ А. Хебрангом 9 января 1945 г. Сталин, припомнив слова М. Джиласа о более высоком «морально-политическом облике английских офицеров», призвал «понять душу бойца», прошедшего с боями тысячи километров, подчеркнул, что «из-за одного уroda нельзя оскорблять всю Красную Армию»: «Неправильно становиться на точку зрения „приличного интеллигента“ <...> Есть отдельные случаи, позорящие наших бойцов. Мы за это расстреливаем. Но надо помнить, что люди из-

мотались, изнервничались, думают, что они — герои, которым все разрешено, все позволено» [Восточная Европа 1997: 120].

Конечно, Сталин лукавил, относя случаи аморального поведения красноармейцев к разряду единичных. Безусловно, это было не так. Однако столь же неверным было бы впадать в другую крайность — представлять поведение бойцов и офицеров как сплошное насилие и мародерство. Очевидно, что главным аргументом мог бы стать предметный статистический анализ правонарушений и преступлений советских военнослужащих на территориях конкретных стран. Но необходимые для этого документы, в том числе военной прокуратуры, все еще не подлежат разглашению. Тем не менее отрывочные сведения, которые мало-помалу отдельным исследователям удается вводить в научный оборот, в частности, на примере Сербии и Венгрии, показывают, что среди многих тысяч военнослужащих лишь «доли процента» приходилось на совершивших аморальные поступки и прямые преступления [Македонский 1993: 18–19].

Примером успешной верификации «Записок» являются сюжеты, связанные с новыми союзниками — болгарской и румынской армиями. Критические оценки автора рождались на фоне упорных кровопролитных боев, которые вела осенью 1944 г. Красная Армия на территории Венгрии. Выражая скептическое отношение к болгарскому «нейтралитету» Слуцкий отмечал: «Трудно было не быть нейтральными, когда танки корпуса генерала Жданова, в те дни единственные на Балканах, подходили к Софии. <...> В сентябре мы считались с возможностью выступления болгар против нас» [Слуцкий 2000: 66–67]. Обстановка, однако, кардинально изменилась в результате перехода болгарских частей в оперативное подчинение 3-го Украинского фронта. В первых числах октября 1-ая Болгарская армия начала военные действия против своего вчерашнего союзника — гитлеровской Германии.

Советские военно-аналитические службы критически оценивали боеспособность, дисциплину и морально-политическое состояние нового союзника, указывая на недостаточную стойкость солдат в бою, неготовность к тяготам и лишениям боевой жизни, массовый уход из гарнизонов, случаи трусости*. Многие военнослужащие считали, что для Болгарии война уже закончена, что роль малой страны в окончательном разгроме немцев невелика. Отсюда возникало стремление вообще быть подальше от войны. Зримым проявлением подобных настроений стал отказ 3-ей пехотной дивизии переправляться через Дунай и самовольное возвращение домой. Проведенное расследование показало, что большинством солдат двигало желание «работать на родине, даже платить репарации, но не воевать в Венгрии». «За Дунай, — считали они, — должны идти только добровольцы»**.

Характеризуя контакты красноармейцев и болгарских военнослужащих, Слуцкий отмечал «пренебрежительное доброжелательство» наших солдат, их веселое удивление не принятыми в Красной Армии ширококвотельными надписями типа «штаб 16-ой дивизии», «штаб 3-го полка», постоянными жалобами болгар на плохую кормежку, плохих офицеров, плохое оружие... Но одновременно бойцы жалели болгарских солдат и сочувствовали им. Особо проявлялось это в тех случаях, когда, как описывает Слуцкий, болгарами «разбавляли» сильно поредевшие советские пехотные роты. В полной мере проявлялось в этих условиях особое свойство русского солдата — его способность быть «добровольным, природным агитатором». Устанавливавшиеся, как правило, товарищеские отношения, вероятно, были чем-то новым и важным для болгар. Не случайно, писал Слуцкий, «кооптированных болгар палками нельзя было вышибить из усыновивших их русских рот» [Слуцкий 2000: 68].

* ЦАМО РФ. Ф. 243. Оп. 2900. Д. 770. Л. 45–46, 49–50; Оп. 2914. Д. 53. Л. 96; Д. 119. Л. 7.

** ЦАМО РФ. Ф. 243. Оп. 2914. Д. 61, Л. 295, 296; Д. 226. Л. 112; Д. 119. Л. 14.

Превращение вчерашнего противника в нового союзника рождало новые требования и к офицерскому составу. Советские наблюдатели сообщали об отсутствии у офицеров достаточного боевого опыта, в частности, о неумении организовать взаимодействие между родами войск, руководить оборонительными действиями и активно действовать в наступлении. В политдонесениях подчеркивалось, что в новой обстановке офицеры «боялись» своих солдат, испытывали чувство неуверенности в своем положении, в завтрашнем дне [Красная Армия 2000: 113]. 8 октября 1944 г. вмешательство командующего 2-ой армией генерала Станчева фактически сорвало наступление болгарских частей в районе Бела Паланка, Нишка Баня и Ниш. В ответ на упрек советского офицера-советника Станчев заявил, что болгарские солдаты «не хотят наступать, так как не знают, за что воюют» [Советская пропаганда 2007: 702].

Реакция советской стороны на подобные проявления была вполне предсказуемой. Уже в начале октября 1944 г. последовало распоряжение начальника Политуправления 3-го Украинского фронта генерал-майора Аношина: «В наших материалах к личному составу принять умеренный тон, не приbedнять Болгарию, так как эту линию сейчас занимает правительство, стараясь этим самым снять с себя материальные заботы о помощи Красной Армии»*. Еще более показательна, на мой взгляд, «Программа по изучению войск противника и наших соседей», подготовленная фронтовыми политорганами для занятий с офицерским составом частей Красной Армии в конце декабря 1944 г. В раздел «Армии наших соседей» были включены пункты об организации и вооружении Болгарской армии, о принятых в ней знаках различия и тактических приемах ведения боевых действий**. По-ви-

* ЦАМО РФ. Ф. 243. Оп. 2914. Д. 53. Л. 122.

** ЦАМО РФ. Ф. 392. Оп. 8900. Д. 128. Л. 49.

димому, несмотря на смену политического режима в Болгарии, признания ее полноценным *военным союзником СССР* не произошло.

Не располагали к оптимизму и сведения о другом новом союзнике — румынской армии. Советские военные наблюдатели отмечали неудовлетворительное руководство боем со стороны среднего и старшего командного состава, неумение румын использовать при отражении контратак артиллерийские средства, форсировать водные преграды, вести ночные поиски. Особенно критически оценивалась традиция румын не воевать в ночное время (боевые действия, независимо ни от чего, приостанавливались в 19–20 часов), а также случаи трусости и танкобоязнь личного состава. Все это объясняло особенности применения румынских частей в боевых операциях. Так, для румынских частей устанавливалась меньшая (2–4 км) полоса наступления, в то время как для советских она составляла 6–8 км. Румынам не доверяли и самостоятельных участков фронта, включая их подразделения в состав регулярных советских частей. (Показательно, что так же действовали и немецкие союзники. Например, в сентябре 1943 г. во время боев на Таманском полуострове румынские горно-стрелковые части располагались между немецкими горными егерями и морскими пехотинцами.)

Возмущение советских командиров вызывало демонстративное нежелание румынских офицеров воевать. Как сообщал представитель советского командования в 4-ой румынской армии полковник Никифоров, румынские офицеры отказались проводить ночную атаку в районе венгерского села Гамбое-Пусто со словами: «Зачем нам лезть туда и нести потери? Дождемся, когда немцы отойдут из села, и тогда займем его». У советских военных, не знавших отпусков, кроме как по ранению, заявления румынских офицеров, что солдаты нуждаются в отдыхе, что следует восстановить былую практику предоставления им каждые полгода 10–15-дневных отпусков, и пр. [Крас-

ная Армия 2000: 70, 80], вызывали соответствующую реакцию, убеждая в намерениях «союзника» отсидеться, воевать «чужими руками».

В поле зрения советских наблюдателей и военных политработников попадали и бесчинства румын на венгерской территории, хотя борьба с противоправными и преступными действиями румынских военнослужащих считалась прерогативой румынского командования. Судя по материалам Военного совета 40-й армии, «поголовный грабеж мирного населения» румыны объясняли и комментировали следующим образом: «Русские тоже всегда берут», «Подождите, вот придут русские, они вам покажут», «У нас русские больше забрали» и пр. [Красная Армия 2000: 72].

Отношение к Румынии было не вполне однозначным, как в советском тылу, так и на фронте. Например, условия перемирия, подписанного с бывшим германским сателлитом в сентябре 1944 г., многие советские люди восприняли как «слишком мягкие», хотя имелись и другие мнения [Международное положение 1996: 111–113]. В целом в массовом сознании советских людей страна не воспринималась как полноценный союзник. На фронте проявилось это в «очень холодных», по признанию Слуцкого, отношениях между советскими и румынскими корпусами [Слуцкий 2000: 52], в ехидно-уничжительном определении «союзнички», которым солдатская масса наградила румын [Слуцкий 2000: 49].

* * *

В предисловии к «Запискам» писатель-фронтовик Даниил Гранин коротко и емко определил объем эпического полотна, созданного лаконичной и строгой палитрой Слуцкого-прозаика: он увидел и описал «взбаламученную, растерянную, униженную и счастливую Европу, запруженную тысячными потоками оstarбайтеров, тех, кто возвращался на родину, недавних узников концлагерей,

города, откуда бежали оккупанты, города без властей, свободу внезапную, испуганную, безудержную...», он воссоздал «время мести и прощения, время надежд и страха», когда перед советским солдатом «вдруг открылась неизвестная европейская жизнь <...> запретная жизнь европейского обывателя. <...> „Записки“ не обличают, но читатель не найдет в них и похвальбы победителя. Есть честный рассказ о том, как советский солдат входил в Европу, что творил там — хорошего и плохого». Это рассказ о войне, которая способна как возвысить человека, так и бросить в глубины безнравственности и аморальности.

В восприятии и честных оценках военной жизни Слуцкий опередил свое время. Многое из описанного им, правдивая картина войны, отличная от прежних конъюнктурно-пропагандистских и приглаженных представлений, находит сегодня документальное подтверждение. «Ничто, никакие литературные совершенства, — пишет Гранин, — не могут заменить свежесть восприятия тех лет, его „Записки“ еще пахнут порохом, пылью дорог, солдатским потом, в них слышен лязг танковых гусениц, от них веет лихостью и страхом погибнуть перед днем Победы. И эти лица — лица и судьбы народов, их надежды... Они уже забыли, как все было, и мы, мы ведь тоже позабыли себя, оказывается, мы были куда лучше...» [Гранин 2000: 11–12, 13, 19].

Литература

- Българо-съветски политически и военни отношения (1941–1947): Статии и документи. София, 1999.
- Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953. В 2 т. / Отв. ред. Г. П. Мурашко / Т. 1. 1944–1948. М., 1997.
- Красная Армия в странах Центральной, Северной Европы и на Балканах: Документы и материалы. 1944–1945 // Русский архив. 14–3(2). Великая Отечественная. М., 2000.
- Горелик П. От составителя // Слуцкий Б. Записки о войне. Стихотворения и баллады. СПб., 2000.
- Гранин Д. Вкус победы // Слуцкий Б. Записки о войне. Стихотворения и баллады. СПб., 2000.

Македонский А. В. Взаимоотношения Красной Армии и населения Восточной Европы. 1944–1945. М., 1993 (рукопись статьи, депонированной в ИНИОН РАН).

Международное положение глазами ленинградцев. 1941–1945 гг. (Из архива Управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области). СПб., 1996.

Слуцкий Б. Записки о войне. Стихотворения и баллады. СПб., 2000.

Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуникация убеждения» и мобилизационные механизмы / Авт.-сост.: А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М., 2007.

Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953: Документы. В 2 т. / Отв. ред. Т. В. Волокитина / Т. 1. 1944–1948. М., 1999.

Тимофеев А. Ю. Военнослужащие Красной Армии и население Сербии: опыт взаимовосприятия // Человек на Балканах глазами русских. СПб., 2011.

Уткин Б. П. Управление коалиционными группировками Красной Армии в 1941–1945 гг. // Философия Освобождения. М., 2005.

Шалито А., Савченков И., Рогинский Н., Цыпленков К. Униформа Красной Армии. М., 2001.